

Япония и Россия

Национальная
идентичность
сквозь
призму
образов



«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»

JAPAN AND RUSSIA
CONSTRUCTING
IDENTITY —
IMAGI(NI)NG THE OTHER

Edited by Yulia Mikhailova

St. Petersburg Centre for Oriental Studies Publishers
St. Petersburg
2014

ЯПОНИЯ И РОССИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБРАЗОВ

Редактор-составитель
Ю. Д. Михайлова

Издательство «Петербургское Востоковедение»
Санкт-Петербург
2014

ББК Ш5(5Япо)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»

Япония и Россия. Национальная идентичность сквозь призму образов / Сб. ст. под ред. Ю. Д. Михайловой. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2014. — 256 с.

В отличие от большинства книг о русско-японских отношениях, посвященных, как правило, проблемам конкретным и «осязаемым» (будь то политика, экономика или культура), настоящий сборник статей имеет дело с вещами, которые трудно измерить и определить точно. Главный вопрос, каким задаются российские, японские и западные авторы, формулируется так: какую роль сыграли Япония и Россия в формировании национальной идентичности друг друга? Как и почему одна национальная общность или отдельные ее представители осознают и воображают себя именно так, а не иначе?

В качестве способа познания национальной идентичности избраны взаимные русско-японские образы, которыми — в силу географической отдаленности политических центров двух стран — особенно богаты их отношения. При этом упор делается на визуальные материалы, поскольку именно визуальное обладает кажущейся способностью конкретизировать умозрительное. В книге используются зарисовки японских ученых периода Эдо, сатирические и «реалистические» картины времен Русско-японской войны, советские довоенные и послевоенные фильмы, в том числе сделанные совместно с японскими мастерами, политические карикатуры, *манга* и *аниме*. Последние три статьи посвящены современности: их авторы пытаются выяснить, что меняется в образах, под влиянием каких факторов происходят изменения и что им препятствует.

Книга предназначена для специалистов по Японии разного профиля, а также для всех интересующихся прошлой и современной жизнью этой страны и ее отношениями с Россией. Издание снабжено блоком уникальных иллюстраций.

ISBN 978-5-85803-470-4



9 785858 034704

© Петербургское Востоковедение,
издание на русском языке, 2014

© Коллектив авторов, 2014

Содержание

Введение (Ю. Михайлова)	6
Хосияма Кёко. Образ России в трудах ученого Школы национальных наук Хирата Ацутанэ (Перевод с японского С. Толстогузова и Ю. Михайловой)	17
Юлия Михайлова. Война длиною в целый век: лубок, литография, карикатура	38
Икута Митико. Репрезентации колониализма — русские и японцы в Маньчжурии (Перевод с японского Ю. Михайловой)	68
Андреас Реннер. Советский Союз и Хиросима: начальный период восприятия (Перевод с немецкого В. Сильванович)	96
Ирина Мельникова. Музыка как символ русско-японского партнерства	116
Сергей Толстогузов. Последние дни Советского Союза в японской газетной карикатуре	143
Евгений Штейнер. Больше не волшебная, но еще более привлекательная — меняющийся образ Японии в воображении русских	171
Юлия Михайлова. Тема войны в современной японской <i>манга</i> и изображение России	192
Кимура Такаси. Перспективы изменения образа России в Японии (Перевод с японского Ю. Михайловой)	224
Summary (Yulia Mikhailova)	244
Сведения об авторах	254

Евгений Штейнер

Больше не волшебная, но еще более привлекательная — меняющийся образ Японии в воображении русских

Настоящая статья является продолжением темы, к которой я спорадически обращался начиная с ранних девяностых годов, — об образе Японии в позднесоветской, преимущественно интеллигентской, ментальности [Штейнер, 1991; 2006; Steiner, 1997]. Выдержки из этих публикаций, а также из лекций, прочитанных в Токио и Манчестере, составляют первую ее часть, а вторую составляют реалии последнего десятилетия.

В целом эта тема входит в хорошо известную категорию культурно-сравнительных исследований типа «Образ Японии в...» или «Япония американскими/английскими/немецкими или даже русскими глазами» (см., например: [Tupper & McReynolds, 1937; Jorgensen, 1973; Johnson, 1988; Lehman, 1978; Storry, 1983; Burgman, 1988; Verbitsky, 1988]). Особенность моего текста (который написан в эссеистической, а не академически-педантской манере) заключается в том, что меня лишь в малой степени занимает, что было написано про Японию в популярной прессе или научных работах. Вместо этого я описываю и деконструирую тот специфический и в общем не описанный образ Японии, который существовал в массовом сознании или неофициальной устной культуре (или в том, что в советское время считалось художественно-интеллектуальной контркультурой).

В конце советской эпохи сразу в нескольких социокультурных кругах Япония представлялась образцом воплощенной утопии, мо-

делью почти сказочного общества ¹. Простые люди представляли Японию землей небывалой роскоши, товаров высочайшего качества и даже образцом потрясающей сексуальности. Существовало немало анекдотов о специфической мощи японского мужчины — притом что вряд ли кто-то из их создателей представлял, что такое *сюнга* или *хэнтай манга*, или читал повести Ихара Сайкаку.

Для среднего класса — учителей и инженерно-технической интеллигенции — существовало общее представление о Японии как о примере посткапиталистического чуда. Это чудо было представлено продвинутой электронной технологией, машинами, камерами и т. п., а также высокоэффективной организацией труда на производстве и в сфере обслуживания, а главное — честными и хорошо обученными работниками.

Для многих же представителей гуманитарной и творческой интеллигенции Япония представляла воплощением истинных эстетических ценностей, страной великой литературы и религии. Более всего привлекало то, что, как казалось, японское общество разделяло важные социопсихологические характеристики с советскими, или лучше сказать, парасоветскими обитателями поздней фазы советского режима ².

Разумеется, *homo para-Sovieticus* был не первым *homo Occidentalis*, пытавшимся разрешить свои собственные проблемы при помощи японских образцов и моделей. Это был мейнстрим широко распространенной западной тенденции искать ответы на экзотические экзистенциальные вопросы, не отягощаясь многосложностями и противоречиями своей собственной интеллектуальной и культурной истории, а обращаясь к Востоку. Достаточно здесь вспомнить западный ориентализм в художественной, литературной и религиозной сферах. Пожалуй, ближайшую к позднесоветским увлечениям Японией параллель можно видеть в американской моде на *дзэн*. Но здесь есть и важное различие. Советские интеллектуалы

¹ Такая роль была однажды уже уготована Японии в одном специфическом стратуме российской ментальности: в XIX в. среди староверов существовала легенда о мифической святой стране Беловодье, стране вечно мира и стародавней религиозной чистоты. В 1910—1920 гг. Беловодье было найдено в Японии переселившимися туда староверами, которые основали две деревни близ Хакодате на Хоккайдо.

² См. введенное мною определение парасоветского в кн.: [Штейнер, 1992]. В последнем номере журнала «Новое литературное обозрение» (№3 (127), 2014) эта моя концепция разбирается в статье Михаила Крутикова «Еврейская память и „парасоветский“ хронотоп».

были в большей или меньшей степени отчуждены от собственного официального общества (по крайней мере, многим так казалось). Поэтому их тяга к иностранным и экзотичным — в нашем случае японским — формам культуры была более сильной, нежели у их американских или европейских сопутников по паломничеству в страну Востока. И разумеется, было еще одно, что делало советско-интеллигентский роман с Японией совершенно уникальным: советские любители и обожатели не имели никакого реального опыта по японской части; их представления были исключительно книжными, измышленными и домысленными. Советское паломничество было совершенно духовным, воображаемым, платоническим — и без малейшего шанса на коррекцию от реальных впечатлений и опыта.

В художественно-интеллектуальном подполье циркулировало множество самодельно-самиздатских переводов на японо-дзэнские темы. Книжка про Иккю Содзюна продавалась на черном рынке по курсу десять номиналов, БГ пел про Ивана Бодхидхарму и московскую пьянь, что пьет водку из чашек «династии Тань»³.

Переводы японской классической литературы раскупались немедленно и зачитывались до дыр, расходились на подражания и пародии. Так, перевод лирической повести X в. «Ямато-моногатари», выполненный Л. Ермаковой, вызвал несколько восхищенных (но не без яду) подражаний. Отличилась Т. Толстая, сочинив «Моё-то моногатари», тонко спародировав источник:

Поганоживу	Любуюсь
Сиро тазабыта-я	Алыми листьями осеннего клёна.
Сижукку ку-ю	Сколь неисчислимы
Никакогомужи-ка	Пути Будды (в этом мире),
Помираювиди-мо	Полном непонятого очарования.

Один кавалер из провинции Кукареку безмерно любил свою жену. Потом как-то так случилось, что он покинул её, уехал в столицу и служил при дворе покойного императора в пятом ранге. Прошли годы и месяцы, о жене ничего не было слышно, а он тем временем получил четвёртый ранг. Безмерно обрадовавшись, решил он наконец навестить жену, подумал: «Как-то она там?» — и:

Купикарису	Зацвела слива.
Запекикакури-цу	В разрывах облаков виден Фудзи.
Нуакэто-му	В вашем одиночестве

³ Тут — вероятно, рифмы ради — у него вышла маленькая ошибочка.

Хорошобысоуса
Тотояпопиру-ю

В горах
О прежних (встречах) вспоминаете ли вы
иногда? —

так сложил.

И вот в первый день пятого месяца получает через посыльного ответ жены:

Курынетуги
Ини какогори-са
Самастарая
Кимоноды-ряво-е
Аидикатымимо

«Сливы в цвету», —
Так изволили (вы сказать),
Отчего же в весеннюю ночь
От слёз промокли
Мои вышитые золотой парчой с узором
из веток сосны рукава?

Прочёл это кавалер и зарыдал. Ни слова не сказал [Толстая, 1984].

Что интеллигенция стремилась найти в Японии? Кратко — многие пытались искать альтернативный тип культуры, альтернативное представление о человеческой личности или иной способ думания и выживания в недружественном обществе. Они хотели найти ответ: как жить без телоса — экзистенциальной цели или генеральной идеи, которой можно посвятить свою жизнь. Западные формы общественного устройства и репрезентации казались несовершенными и отжившими (к тому ж демократия и свободное чувство независимой личности никогда не были известны и популярны в России) — и условная Япония стала казаться заводью возвышенной реальности, настоящего понимания человеческих взаимоотношений и «правильной» идеи личности, естественности и неканоничности. Иными словами, Японии была уготована весьма специфическая роль — представлять идеальные социокультурные декорации для внутренней свободы, к тому ж эстетически изящно нарисованные. В значительной степени таковое понимание японской традиции было основано на наивно-прихотливом понимании *дзэн* и навеянной им традиционной культуры — как это виделось со Среднерусской возвышенности.

Когда основной смысл и цель культуры были потеряны, она стала восприниматься как хаос и лабиринт — даже не как Вавилонская башня. Это было отрицанием экзистенциального телоса. И этот тип культуры-лабиринта был найден — в готовом и эстетически привлекательном виде — в Японии, например в архитектуре или поэзии *рэнга* (то есть в поэмах, составленных из строф разных

авторов, где новые строфы добавлялись без единого плана или сюжета). Кстати, для некоторых западных людей той поры (от Октавио Паса и Джона Кейджа до автора сих строк, начавшего заниматься *рэнга* в 1981 г.) *рэнга* являлась подлинным воплощением настоящих человеческих отношений. В *рэнга*, как думали западные авангардисты и парасоветские интеллигенты, можно было преодолеть барьер между изолированным гением, Поэтом, и толпой. Всякий в японском обществе, казалось, был поэтом, который мог подхватить поэтическую нить и добавить свою собственную строку.

Судьба молодого советского интеллигента, не успевшего по возрасту попасть в шестидесятники, — застойного юноши, была трагична и парадигматична. Осужденный партией и правительством осуществлять идеал даосского мудреца («настоящий мудрец, не выходя во двор, видит весь мир»), он совершал свое паломничество в страну Востока, читая умные книжки в Ленинке, а чаще в дворницкой или кочегарке.

Восток при этом для нашего русско-советского героя, страдавшего, как правило, тяжелой формой всемирной отзывчивости, был смутен и не расчленен и обступал, по меньшей мере, с трех сторон сразу — в виде западного Ближнего еврейско-арабского, южного индийского и Дальнего китайско-японского. Китай, кстати, также занимал немалое место в качестве духовной утехи для опаленных советским солнцем взыскателей мудрости. Существовало даже выражение «шизо-Китай», популярное в концептуальном кругу московского художественного андеграунда. А некоторые особо отзывчивые из числа моих бывших знакомых время от времени в качестве апофеоза беспочвенности включали в число своих духовных угодий и четвертый Восток — малых народов Севера, балдея под фонограмму камлания чукотского шамана, заботливо выпущенную фирмой «Мелодия» в качестве музыкального фольклора братских народов Российской Федерации, рассуждая по пьянке о пользе вкушения мяса неубитого оленя или распевая по пьянке с садомазохистическим наслаждением песню советских композиторов «Чукча в чуме».

Таким образом, восточный окоем замыкался вокруг советско-столичного жителя. Озираясь духовным зраком окрест, он видел кругом не постылую застойную действительность, а волнующие Гималаи спиритуалий.

Увлечение чем-то таким восточным приняло на заре восьмидесятых характер нездоровой повальности и дурной бесконечности. К авангарду элитарных читателей «Дао дэ цзина» и «Праздняя

парамита сутры» или гадателей по палочкам «И Цзина» (из одного такого гадателя вырос в девяностые годы заместитель главного редактора какого-то либерального и независимого издательства) прибавились бесчисленные сонмы широких масс любителей Востока. Помню, как в середине восьмидесятых в процессе первой выпивки с новыми коллегами из строительного-монтажного ПТУ № 118 г. Москвы, где в течение одного семестра мне довелось преподавать эстетику, некий симпатичный мастер производственного обучения доверительно признался мне как специалисту, что вечерами он, бывает, как устанет, так садится в позу лотоса, выходит в астрал и летает над Гималаями.

Или помню, как где-то в те же стабильно-безнадежные годы, чье плавное течение, или, лучше сказать, колыхание, вяло взволновывалось ритуальным вызовом кого-либо в гэбуху поговорить о круге чтения, к моему столику в Иностранке, заваленному буддологическими изданиями, подошел некто, плотно сбитый и невыразительно прикинутый. Наклонившись и в глаза посмотрев со значением, он коротко предложил: «Пойдем выйдем». Как было принято, я на всякий случай слегка испугался, но покорно пошел. Пройдя через зал (незнакомец веско ступал впереди и не оглядывался), мы оказались в курилке. Проникновенно глядя, он негромко спросил утвердительно: «Вы тут книжки про буддизм читаете?» С достоинством застойного юноши, видевшего в этом сопротивление режиму, я утвердительно кивнул. Собеседник мой протянул ладошку топориком и представился: «Гена. Буддист-каратист из Братска. Приехал в Москву устанавливать контакты».

Да, увлечение Востоком было повальным. Если откинуть пародийные случаи астралиста из ПТУ и буддиста из Братска, большинство взыскующих корней совинтеллектуалов, прослышавших стороной что-то про «Ex Oriente Lux», усаживались перво-наперво читать Библию. Редко кто переваливал за «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». Вознамерившимся разрешить все последние вопросы мальчикам российским было недосуг и неактуально запоминать, кто кого родил. И «инакомыслящие» юноши, обдумывавшие житье, откочевывали дальше на Восток.

Чем восточнее, тем советскому человеку больше нравилось. Не в пример приятнее соблюдения постов, рамаданов или 613 галахических предписаний было декламировать изречения чаньских мастеров типа «Встретишь Будду — убей Будду. Встретишь патриарха — убей патриарха» и т. п. Такие заповеди не могли не иметь особой сладости в глазах советского интеллигента, задавленного

Советской властью и боявшегося «милищанера». Не в пример проще было вместо изучения Священного Писания цитировать (попавшие через подпольно-самодельные переклады с английских переводов) речения яростного иконокласта Линьци о том, что святые сутры годятся разве что на подтирку. Невыразимо сладостнее было, сообразно первой заповеди *чань/дзэн*, «не основываться на письменных знаках» и, не умеючи отозваться о чем-либо, утешать себя тем, что «знающий — не говорит; говорящий — не знает».

Оппозиция «Афины—Иерусалим» сделалась почти нерелевантной. Место ее заступила оппозиция «Афины/Иерусалим—Киото». Представлявшиеся из-под глыб контркультурными и нигилистическими религиозно-философские течения Дальнего Востока ⁴ противопоставлялись чрезмерно регламентированным, рутинно-засушенным формам духовной жизни Ближнего. Разумеется, и то и другое виделось с просторов Среднерусской возвышенности достаточно кособоко, но любопытно отметить не то, как оно было «на самом деле». Важнее проинтерпретировать этот феномен культурологически: это было неотрефлексированной реакцией на чрезмерное давление (несмотря на бардак) государства, а также извинительной преференцией выброшенного на обочину культуры люмпен-интеллекта, предпочитавшего суровому морализированию жестоковыйных праотцов вроде бы обещанное ему просветление здесь и сейчас. Большое восточное путешествие было для многих формой социального эскейпа и сущностью нонконформного бытия. «Лотосовая сутра» мнилась магическим вокзалом, за которым неясно грезилась Индия духа.

Типически незаурядный представитель поколения дворников и сторожей бывший дерптский (соответственно, лотмановский) студент Макабра (прозвище, под коим Андрей Освальдович Мадисон был широко известен, а еще он был известен как таллинский хиппиарх) слагал стихи, совершая бдение над манометром в своей таллинской кочегарке:

Душою ухожу в Китай
Эпохи Танов...⁵

⁴ Этому была посвящена диссертация Г. С. Померанца: «Некоторые течения религиозного нигилизма» (1968), которую власти, уже после напечатания автореферата, запретили защищать.

⁵ В постсоветское время Макабра (Андрей Мадисон) издал в качестве редактора немало важных текстов в Главной редакции восточной литературы издательства «Наука», после чего ушел в северный лес и добровольно замерз.

Размыто-призрачные, сурово-лаконичные, начисто сублимированные от пошлой предметности образы японских монохромных пейзажей будили некий смутный отзвук в душе.

Сердце! Что это
за штука такая,
как изъяснить? —

восклицали мы вслед за дзэнским поэтом Иккю и потрясенно замирали, не могуци ничего добавить к его ответу:

Нарисованный на картине
Шум ветра в соснах.

Некое избирательное сродство вело нашего советского юношу, в ночи глядящего эстампы, все дальше на Восток, до самых корней восходящего солнца. «Во всем мне хочется дойти до самой сути», — приговаривали и бродяги, и пропойцы, собравшиеся в порту пяти морей, и — на Тихом океане свой закончили поход.

Самозваным кандидатам в японцы (так когда-то называли — «кандидатами в китайцы» — ученые мандарины заезжих иностранцев, стремившихся постичь премудрость Срединной империи), безродным космополитам, японцы были близки еще и редкостным сочетанием готовности впитывать заемную чужую науку и сохранять незыблемыми основы национального духа. Представителей интеллигентского сословия, среди которых было столь много таких, кто отличался безобразной чувствительностью к саморефлексии и психоанализу, не мог не привлечь свойственный японцам интерес к собственной этнопсихологической и культурной специфике — настоящий пережитый японцами в семидесятые—восемидесятые годы «бум *нихондзинрон*» — бум теорий о сущности японцев.

Из работ японских и американских психологов и культурологов стало постепенно проясняться, что это смутное избирательное сродство, ощущавшееся на уровне мировоззренческих интенций и эстетических предпочтений, оказывается, имеет под собою весьма впечатляющий базис.

Это язык.

В отличие от европейских языков, где слова непосредственно привязаны к конкретному содержанию, в японском языке слова весьма обтекаемы, круглы, многозначны. Индоевропейские языки стремятся к четкому выражению содержания, используя установленные грамматические правила. Японцы же, напротив, предпочи-

тают концентрировать свое внимание на форме. «Обучение японскому языку, — писал популярный автор тех лет Исаяя Бен-Дасан (под таким диковинным псевдонимом скрывался чистопородный японец С. Ямамото), — базируется на представлении, что установка, манера и прежде всего точный выбор форм вежливости, подходящих для данной ситуации, — самое важное».

Именно таковою была языковая ситуация и в позднесоветских кругах интеллектуального андеграунда. Тотальная экспроприация социальных ценностей, перманентная прогибция какой-либо значимой деятельности привели к тому, что единственной сферой самовыражения, единственной неотчуждаемой собственностью остался язык. Он уже, конечно, давно не был великим и могучим, по большому счету, он перестал уже быть русским, превратившись в интеллигентски-советскую вторичную моделирующую систему, пользуясь которой, можно было остроумно и глубоко, разнообразно и индивидуально говорить ни о чем. Тонкие стилизации и прихотливые ассоциации наращивали слои культурного контекста на нечто столь незначительное, что само содержание было как бы уже и не нужным, манера подачи становилась самоцелью. Примерно так обстояло дело и в языке японском, в частности языке поэтическом. Подавляющее большинство знаменитых лирических миниатюр — *танка* и *хайку*, которые в изящных русских переводах составляли неперемный круг чтения «нашего круга», в оригинале часто представляют собой просто длинное определение, номинацию крайне ограниченного набора тем (сосна, мотыльки, цветущая вишня и всякие томления по поводу и без) с цветистыми и играющими на полутонах эпитетами.

Японизм, возведенный в имажинативный абсолют, был интеллигентской игрой в бисер. Чтобы век-волкодав не слишком бросался на плечи, каждый век себе по росту выбирал. Это было полусамоироническое игровое моделирование и чистейшей воды театр для себя.

Это о такой Японии писал Ролан Барт:

Если я захочу придумать несуществующий народ, я дам ему измышленное мной имя и буду обходиться с ним как с воображаемым литературным объектом... Я могу также, — не претендуя ни в коей мере на то, чтобы анализировать реальность (чем обычно занимается западная мысль), — изолировать где-то в пространстве (как можно дальше) некий набор черт и из этих черт намеренно выстроить систему. Эту-то систему я и назову Япония [Barthes, 1982: 3].

Вполне в бартовском духе Япония служила ширмой для признаний и интеллектуальных исповедей, которые нельзя было сделать открыто. Вот пример, когда был измышлен древний японский художник Ивадзин, в имени которого были обыграны иероглифы «камень/скала» и «человек» и биография которого была пропечатана в солидном издании издательства «Советский художник»:

В отличие от многих своих современников и потомков, которые в писании картин видели род религиозного служения и своими произведениями наставляли народ в том, что есть истина, Ивадзин, хоть и стал на склоне лет монахом, первые свои живописные опыты создавал не в религиозных, а скорее в светски-куртуазных целях. Предания доносят, что он был большим любителем дамского общества и глубоким знатоком науки страсти нежной. Многие произведения раннего периода творчества Ивадзина составляли, по-видимому, куртуазные безделицы — живописные подношения дамам. В жанровом отношении это были миниатюрные альбомные листы с изображением цветов или меланхолические лунные пейзажи с фигуркой одинокого влюбленного и приличествующей случаю стихотворной надписью. <...> Для стиля Ивадзина было характерно тонкое сопряжение знака — со знаком, образа — с образом в одно прихотливо переплетенное целое, которое отличалось вольно струящейся ассоциативностью и подчас язвительной двусмысленностью. Историческая эпоха, в которую выпало жить Ивадзину, вынуждала людей его склада искать этическое обоснование жизни в религиозном подвижничестве или устраивать из своей жизни искусство, моделируя в подчеркнuto игровой эстетизированной форме то, чего была лишена реальная жизнь, — гармонию межличностных отношений, которая помогала бы переносить многочисленные перипетии смутного и мелкого времени. Поэтому в историю Ивадзин и его поэтический двойник Сэкиан вошли как талантливые мастера по части психологического изображения любовных страстей, где под внешней игривостью нередко сквозит трагическое ощущение безвременья и потери себя [Штейнер, 1991a: 326—330] (рис. 1).

На опубликованной в статье картинке имелась надпись в виде русскоязычной хайку, записанной японскими знаками.

За всеми этими играми подспудно сквозило более или менее ясное признание того, что, по большому счету, на некоей последней и серьезной глубине паломничество в страну Востока не достигло, конечно же, своих целей. Поманивший домоседов-любителей в те годы, грозные, глухие, колокольный звон Беловодья уплыл куда-то, как любимый город — в синий дым Китая, — чтоб видеть сны и зеленеть среди весны.

Но дальневосточный душевный опыт, как дело декабристов, не пропал даром. Он помог более трезво взглянуть на всякий иной, позже открывшийся уже в ощущениях, опыт — кому-то фантазмагорический постсоветский, кому-то ближневосточный, кому-то и вовсе нелепый дико-западный. Тот опыт позволил надеяться на лучшее и не ждать в то же время слишком многого от перемены декораций. Ниппоника послужила зеркальной оппозицией советики — обе эти сестры-близняшки растворились вдали, маша платочками, — домой возврата нет. Оба этих мощных конституента слепили невообразимый западно-восточный диван, на котором расслабленно, но беспокойно покоилось раздраемое резиньями и амбиваленциями неприкаянное интеллигентское эго.

Так, Ближний Восток (куда я некогда отправился, дабы попасть через этот задний проход в запретный для меня Дальний), оказался на свой лад ничуть не более реальным, нежели Дальний (в конечном счете бесконечно дальний, как сказал поэт). Оба они — суть полюса семио-ойкумены, весьма проблематично доступные затерявшемуся между ними, где-то на просторах между Западом и Востоком, русско-советскому артефакту.

Япония служила образцом минимизации требований и потребностей: минимальное жизненное пространство с минимумом вещей в доме. Возможно, дзэнская эстетика *ваби-саби* воспринималась



Рис. 1. Ивадзин Сэкиэн (955—1042(?)), он же Евгений Штейнер. Два деревца. Бумага, кисть, тушь. Собрание Е. Штейнера, Нью-Йорк.

Стихотворение читается:

Кого рюбюрю
того и мутяю я
но мутюся сам

как душевное утешение и готовое средство для психологического овладения с советской бедностью. Например, монашеские обители в средневековой Японии — *соан*, или ‘травяные домики’, — могли служить благородной параллелью пресловутым советским коммуналкам, переполненным и плохо приспособленным для достойного житья. Разумеется, такого рода заимствования были чисто умозрительными концептами, своего рода «благородными уловками» (*хобэн*). Опыт в реальном мире был не нужен, если хватало саморефлексии и самоиронии считать все происходящее, включая собственные мысли и потуги, игрою в бисер.

Парасоветские интеллектуалы культивировали «чистые беседы» — по обычаю старинных китайских (*цинътан*) и японских (*сэйдан*) книжников. Никого не интересовали политика, или новейшая история, или экономическая ситуация и т. п.

Япония научила советского интеллигента, как выживать в тоталитарном обществе, в условиях минимального психологического комфорта при постоянном фоновом давлении и притеснении. Она предложила непростой, но доступный ответ: минимизация личной активности; переключение с карьерно ориентированной деятельной социальной позиции на эстетически ориентированные созерцательные игры с реальностью — типично постмодернистский подход (его, впрочем, некоторые называли типично пустопорожним).

Но! Когда социальная ситуация изменилась, роль японского духа радикально сменилась также. Оказалось (как мне открылось), что Япония сыграла важную роль в процессе маргинализации советской «независимой» интеллигенции. Они не хотели участвовать. Они были демонстративно пассивны и пассивны. Когда они слышали что-нибудь житейски-практичное — будь то официально-профессиональное или неофициально-денежное, — они затыкали уши. (Благородные китайцы в этой ситуации уши обычно омывали — но в советском контексте акцент всегда был не на ритуальном очищении, а на возлиянии.) Так или иначе, это «неучастие» (или пофигизм) были по-своему неплохи в рамках тоталитарного режима — в качестве пассивной оппозиции дегуманизирующему обществу. Возможно, это благородное неучастие явилось одним из немаловажных идеологических факторов, разрушивших в итоге советскую систему. Но когда случилась перестройка и власти сами стали тужиться строить социализм, а потом капитализм с человеческим лицом, ситуация изменилась. После всех этих демократизаций и человеческих факторов самый психологический тип интеллектуального маргинала и лиминала оказался неадекватным, неспособным и едва ль не неприличным.

Япония помогла в свое время деконструировать интеллигентскую собственную систему и ее собственную реальность. Но в то же самое время этот подход оказался не просто деконструктивным — он оказался в определенной степени деструктивным. В годы, последовавшие за развалом Советского Союза, советская интеллигенция как социальная группа оказалась перед лицом вымывания почвы из-под ног и саморазрушения. В новой общественной реальности не было места интеллигентской эскапистской идеологии с ее чрезмерно эстетизированным образом жизни, с полубарским-полулюмпенским отрицанием регулярной и интенсивной профессиональной рутины. Япония, понятая весьма специфически и однобоко, была большой поддержкой и законным пардоном для советских социальных фобий, оправданием для пассивности и нередко откровенной лени.

После перестройки пришло иное время. Для нового поколения идеи *дзэн*, эстетского *dolce far niente* и эзотерических игрищ в узком кругу своих стали нерелевантны. Когда пришли «новые русские», старая интеллигенция (скажем, те, кто старше сорока) обнаружила себя в довольно неприятной позиции — она потеряла свою социальную нишу, но не нашла ничего сопоставимого по комфортабельности или уважительности.

Японией стали интересоваться новые люди: бизнесмены и всякая полуграмотная публика, впервые услышавшая про восточные диковинки. Не случайно начало девяностых засвидетельствовало столь мощный взлет всякого религиозного околославянского вздора. Например, такой поразительный факт: не сотни и не тысячи, а десятки тысяч российских простаков попали под влияние столь же зловещей, сколь и примитивной секты Аум Синрикё. Согласно официальной статистике, число приверженцев Аум в России превысило число таковых в самой Японии.

Оглядываясь на картину духовных поисков в СССР в течение последних двадцати пяти лет, я думаю, что роль Японии (то есть ее специфический культурный образ в позднесоветской ментальности) должна быть переосмыслена. Япония была волшебной грезой для многих ярких интеллектуалов с изначально высокими потенциалами. Возможно, будущий историк падения советской интеллигенции опишет и японский след среди прочих причин, вымостивших дорогу к ее концу. Таким образом, история советско-интеллигентской любви к Японии являет собой поучительный пример того, сколь амбивалентна бывает мягко диссидентствующая позиция неучастия и непринадлежности.

Итак, после распада Советского Союза и неразберихи первых постсоветских лет отношение к Японии изменилось. Погруженным в рассуждения о прекрасном минимализме интеллигентам стало не до того. Некоторые попытались издавать переводы с японского — но почему-то оказалось, что печатать можно все, да только охотников читать резко поубавилось. С баснословных советских ста или трехсот тысяч экземпляров Акутагавы или Сэй Сёнагон тиражи упали до двух-трех, в лучшем случае пяти тысяч — за Харуки Мураками и любовь по-японски и не более тысячи — за что-то изящное, но научное. Особо предприимчивые стали открывать чайные домики (часто под названием типа «Институт чайной культуры») или школы экзотического мордобоя.

В саму Японию потянулась тонкая ниточка интересантов, чей поток стабильно набирал и продолжает набирать силу. Сначала это были невыездные дотоле японисты, слетавшиеся на японские гранты, да там по большей части и застревавшие — через контракт с университетом или брачный. Параллельно рос поток и разных мастей бизнесменов — от скупщиков старых авто, курсировавших по маршруту Владивосток—Ниигата и обратно, до веселых девиц из веселого Владика, на которых был немалый спрос в качестве хостесс в специфических барах. Потом появились потоки специалистов в рыболовном или компьютерном деле, а далее хлынули русские жены (реже — мужья) и студенты. Из жен/мужей удерживались почти все, а из студентов — многие. С началом нового века оформилось несколько активных интернетных сообществ в «Живом журнале», «Фейсбуке» и других социальных сетях, а также великое множество сайтов — от фанатов *аниме* до туристических или коммерческих (диапазон последних необычайно широк — от продажи кимоно до особо толстых подгузников) ⁶.

В Японии сейчас живет, по разным оценкам, от четырех до семи тысяч российских граждан. Несколько сотен из них активно общаются в интернете, обсуждая достоинства и преимущества разных онсэн (‘купальня на термальном источнике’), ассортимента местных сексшопов, или делясь секретами блошиных рынков, или собирая компании для нестандартных поездок по стране. Другие

⁶ Вот примеры некоторых: urban-japan.ru, makotomoscow.ru, info-japan.ru, injapan.ru, cool-japan.ru, lifeinjapan.ru, okinawajapan.ru, avto-japan.ru, intourist-japan.ru, visitjapan.ru, japan-sumo.ru, real-japan.ru, crazy-japan.ru, podguz-japan.ru, todayjapan.ru и многие другие.

судачат о проблемах работы в японских компаниях или об успеваемости детей в японских школах. Все это является радикальным поворотом в сторону того, что Япония из труднодоступного экзотического чуда стремительно превращается в «нормальную» страну, где интересно и привлекательно жить. Время от времени появляются рассказы про целые семьи, которые приобретают японское гражданство, прочно вращаясь в японскую жизнь.

В России поездки в Японию на учебу или в отпуск стали почти обычным делом. При этом, случается, гости ведут себя необычно — например, спортивно скачут по камням знаменитого сада в монастыре Рёандзи, на каковые камни полагается смотреть со стороны, со специальной веранды, и медитировать⁷. На другом полюсе есть такие уникальные поездки-паломничества, как поход студентов Ани Глейзер и Пабло Фернандеса, которые решили повторить путь Басё по «узким тропинкам Севера» и пройти пешком около полутора тысяч километров, зарисовывая виды, сочиняя стихи и медитируя на тему «тогда и теперь». Поход проходил в июне—сентябре 2014 г. (см. путевой дневник онлайн: streamsandmountains.com). По результатам его планируется выпустить книгу стихов, зарисовок и дорожной прозы — как у Басё (рис. 2).

Уже несколько лет множество любителей японских товаров заказывают их (например, экипировку для занятий воинскими искусствами) по интернету, не боясь неожиданностей российской почты. В Москве и иных городах появились *додзё*⁸, в которых, по данным Российского союза боевых искусств, в середине десятых годов занимались разными *будо* («боевыми искусствами») около четырех с половиной миллионов человек. Вероятно, не меньшее количество человек болеют за японский спорт и все остальное, посещают разные фанатские сайты. При этом беззаветная любовь к Японии принимает иной раз причудливые и проблематичные в свете нынешней паранойи властей формы — один из информантов сообщил мне: «Забавная деталь: если в сообществе фанатов *j*-рока или *аниме* говорят „вчера наши выиграли в футбол“, то если матч был Россия—Япония, то наши — это японцы»⁹.

⁷ В Интернете было размещено видео (<http://www.videokub.me/videos/38815/orel-i-reshka-na-kraju-sveta-14-vypusk-kioto-04-05-2014/>), которое в настоящее время недоступно.

⁸ Додзё — помещение для занятий духовными практиками и воинскими искусствами, буквально означающее «место, где ищут путь».

⁹ И. Левшин, сообщение по и-мэйл от 8 июня 2014 г.



Рис. 2. Аня Глейзер. Заставка к «Узким тропинкам Севера» (по стопам Басё). 2014. Бумага, перо, акварель. Собрание Денниса Славина. Нью-Йорк

В Москве множество японских продуктов питания и ширпотреба можно купить в специализированных магазинах. То есть интерес к Японии не уменьшился, но приобрел более реальные и действенные формы. Рынок спроса ширится, несмотря на невообразимые наценки.

Бум японской кухни, начавшийся в двухтысячные годы, не спадает. Множество ресторанов и забегаловок, принадлежащих нескольким японским или псевдояпонским сетям, составляют весьма заметный и растущий сегмент рынка. Мода на суси вызвала даже реакцию в виде «антисуши» в сети ресторанов «Япоша», где «блюда японской кухни соседствуют с салатом „Оливье“, соляной, пельменями»¹⁰.

Наряду с этим массовым и в массе своей поповым интересом, остаются в России люди, кому Япония интересна своей духовной или эстетической стороной. Ставшие регулярными конкурсы русскоязычных хайку под патронатом Японского фонда собирают тысячи текстов. Издается (нерегулярно из-за нехватки средств, но шесть или семь выпусков уже вышло) альманах любителей и сочинителей японской поэзии «Хайкумена», а также людей, изучающих

¹⁰ URL: otvet.mail.ru/question/14564662 (дата обращения: 03.10.2014).

ее (отв. редакторы Д. П. Кудря и Н. Г. Седенкова). Если стихи там, как и везде, бывают хорошие и плохие, то аналитические тексты или критические обзоры нередко отличаются вполне академическим качеством. Впрочем, и стихи бывают там по-настоящему терпкие, например:

одуванчики...
на дачной клумбе отца
первые цветы

Или

рано темнеет
долго не засыпает
пойманный окунь

Интерес к японскому искусству помимо еще советского давнего хождения на редкие выставки и разглядывания альбомов и веб-сайтов с картинками воплощается в последние годы еще в двух ипостасях: появились курсы живописи тушью (качество не разбираем — для нашей темы важен энтузиазм) для собственного самосовершенствования с кистью в руках, а также возникли коллекционеры японского искусства. Число их в принципе не может быть большим, но уровень часто весьма высок, а иногда просто впечатляющ — например, коллекция гравюры А. Орлова-Кретчера, купавшего уникальные листы Куниёси из коллекции Бэзила Робинсона на аукционе в Лондоне. На другом уровне (прежде всего покупательской способности) есть молодые энтузиасты, как, например, житель города Сергиев Посад, известный под именем Родзион (пишется иероглифами «Россия», «земля», «звук»), собравший за три года приличную коллекцию театральной гравюры и книг по ее истории (рис. 3, 4). Коллекцию свитков периода Эдо собирает, выписывая их через аукционы, молодой специалист-компьютерщик АК. Они и подобные им представляют собой новое явление — это любители традиционной Японии, которые имеют деньги и практическую возможность покупать в Японии предметы своего увлечения. Другие ездят в особые туры по антикварным магазинам и рынкам в Токио.

Таким образом, можно сказать, что если в первые постсоветские годы интерес к Японии стал из элитарного массовым, а общий уровень его заметно понизился, то в последние годы этот интерес не уменьшился, но стратифицировался. Любителей суси (точнее «суши», что часто псевдосуси) по-прежнему хватает, равно как



Рис. 3. Родзион. Без названия. Наши дни. Бумага, тушь, акварель.
Собрание автора. Сергиев Посад



Рис. 4. Родзион. Без названия. Наши дни. Бумага, тушь, акварель.
Собрание автора. Сергиев Посад

растет и поток первичных российских туристов в Японию. Наряду с этим выделилась группа любителей-знатоков, которые серьезно занимаются традиционными японскими искусствами — будь то любители воинских искусств, сообщества любителей *хайку* и даже *рэнга* или собиратели японского искусства и антиквариата. Все это позволяет считать, что слова, вынесенные нами в заголовок, не преувеличение. Япония перестала быть мифической и недоступной страной, образцом духовного и эстетического великолепия. Но она стала более знакомой и для многих еще более привлекательной.

И все-таки добавлю в конце диссонирующее (или контрапунктирующее?) крещендо. Япония остается страной трудной, закрытой и иногда болезненно фрустрирующей именно тех, кто сильно ее любит и глубоко (пусть по-своему) понимает. Приведу (с разрешения автора) концовку готовящихся к публикации записок музыканта и знатока классической японской музыки Натальи Клобуковой-Голубинской:

Самым же трудным, а порой невыносимым была роль ученой обезьяны, которую я играла, не расслабляясь, изо дня в день и о которой нельзя было забывать ни на минуту. Везде. Всегда.

«А вот это Натася! Она из Москвы! Ага, прямо из самой! Она моя ученица. Натася, поклонись! И еще она умеет по-японски говорить. Натася, скажи чего-нибудь! Слыхали?!?! А еще она умеет на кото играть. Хонто! Хонто-хонто! Усоцуки дзя най! Натася, что ты сейчас играешь? Ага, „Юрэру аки“, правильно, молодец. А еще она такая умная, такая умная — диссертацию пишет! Хонто-хонто... Что-то там про Мэйдзи. Натася, какая у тебя тема-то?... Вот, слыхали?!?!»

И со дэс нэ... И со дэс ка... И такой монолог повторялся каждый раз, когда моя Ивахори-сэнсэй, преподавательница кото и сямисэна, таскала меня по зрительному залу перед каким-нибудь очередным концертом и представляла своим знакомым сэнсэям. Пожилые церемонные тетушки, одетые в безупречные кимоно, безупречно улыбались и задавали одни и те же ласковые вопросы. После очередного знакомства и очередной порции одинаковых вопросов мне безумно хотелось сотворить что-нибудь неожиданное — ну там повалиться по безупречно чистому ковровину на полу концертного зала, или залезть к тетушке в ее безупречную сумочку, или выскочить на сцену перед безупречно расписанным занавесом и спеть ядреную русскую частушку...

Конечно, я понимала суть происходящего. Сэнсэй меня встраивала в Систему. Коль скоро сэнсэй меня опекает и сюда я пришла с ней, я ее ученица, существо низшего порядка, и обязана соблюдать все правила игры, которые таковы, каковы они есть. И больше, как говорится, никаковы. Я знала, что это правильно и для меня очень полезно — и результаты начали проявляться позже, когда на каком-

нибудь очередном концерте со мной вдруг милостиво раскланивалась какая-нибудь тетушка, которую я в упор не знала, но которая была важной частью Системы — а значит, я в эту Систему тоже была встроена, хоть маленьким, да винтиком. А для иностранца встроиться в систему японской традиции крайне сложно...

И я играла свою роль ученой обезьяны безропотно и покорно. В среде коллег по университету — «Она отличает гэккин от гэнкина!» В среде кансайских специалистов-музыкологов — «Она знает, что такое Хэйан! И читала Гэндзи!» В компании учениц Ивахори-сэнсэй — «Она умеет правильно запахивать кимоно!» Во время поездок в транспорте — «Она умеет платить за проезд!» И так до бесконечности...

И как мне было убедить окружающих меня японцев, что, несмотря на незнание мною японского языка, я далеко не дура! И меня не надо учить элементарным вещам! Я живу в своей стране не один десяток лет, я прекрасно знаю свой язык, объемы мною прочитанного, изученного, увиденного, понятого достаточно велики, чтобы считать себя образованным человеком... но нет. Я не японка — а значит, человеком быть не могу. Только ученой обезьяной. «Натася, поклонись... Натася, скажи что-нибудь...»

В общем, как сказал Ки-но Томонори более тысячи лет назад в своей знаменитой танка, *сирухито дзо сиру* 'только знающий поймет'.

Литература

Толстая, 1984: *Толстая Т. Н.* Моё-то моногатари // Вопросы литературы. 1984. 7. № 2.

Штейнер, 1991а: Ивадзин // Сто памятных дат — 1992. М., 1991. С. 326—330.

Штейнер, 1991б: *Штейнер Е. С.* Иудео-японские зеркала // Знак Времени. 1991. № 22. С. 8—12.

Штейнер, 1992: *Штейнер Е. С.* Апология застойного юноши // Звенья. 1992. № 6. С. 8—12.

Штейнер, 2006: *Штейнер Е. С.* Без Фудзиямы: Японские образы и изображения. М.: Наталис, 2006.

Barthes, 1982: *Barthes, Roland.* The Empire of Signs. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1982.

Burgman, 1988: *Burgman, Torsten J.* The Image of Japan in the United States and Europe. Lund, 1988.

Jorgensen, 1973: *Jorgensen, Richard.* The Honorable Bridge: An Historical Study of Japan's Cultural Reputation in America. Washington, 1973.

Johnson, 1988: *Johnson, Sheila K.* The Japanese Through American Eyes. Stanford, 1988.

- Lehman, 1978: *Lehman, Jean-Pierre*. The Image of Japan. London, 1978.
- Steiner, 1997: *Steiner, Evgeny*. Japan in the Late Soviet Mind // Forum-1996. 3. Yokohama, 1997. P. 1—15.
- Storry, 1983: *Storry, Richard*. The Image of Japan in England // Bulletin. Ed. by the International House of Japan. 1983. 25.
- Tupper & McReynolds, 1937: *Tupper, Eleanor and McReynolds, George*. Japan in American Public Opinion. New York: Macmillan, 1937.
- Verbitsky, 1988: *Verbitsky, Semyon I*. Russian Notions About Japan // Contemporary European Writing on Japan / Ed. by Ian Nish. Kent, England: Paul Norbury Publishers, 1988.

Сведения об авторах

Хосияма Кёко — доцент Университета Хёго. Сфера научных интересов — интеллектуальная история Японии XIX века, в частности японские националисты и «западные науки». Ею опубликована книга «Идея изгнания варваров и западные науки в конце периода Токугава (Токио, 2003). В последнее время особенно интересуется влиянием России на формирование взглядов представителей Школы национальных наук.

Юлия Дмитриевна Михайлова — окончила Восточный факультет Ленинградского университета, работала в Ленинградском отделении Института востоковедения, Университете Гриффита (Австралия) и Муниципальном университете г. Хиросима (Япония), почетным профессором которого является в настоящее время. Занимается изучением общественной мысли Японии в Новое время и взаимных русско-японских образов. Среди ее работ: «Мотоори Норинага: жизнь и творчество» (Москва, 1989); «Общественно-политическая мысль Японии: 60—80-е гг. XIX в.» (М., 1991); «Japan and Russia. Three Centuries of Mutual Images» (в соавторстве с Уильямом М. Стилем. Global Oriental, 2008), а также свыше ста научных статей на русском, английском и японском языках. В последнее время ее интерес сосредоточен на изучении визуальной культуры.

Икута Митико — почетный профессор Университета Осака и редактор журнала «Север». Из-под ее пера вышло более 130 научных статей, несколько книг и учебников на японском, русском, английском и китайском языках, в том числе книги «Поцелуй Дайкокуя Кодаю: тело в межкультурных коммуникациях» (1997); «Русско-японские отношения периода Бакумацу: взгляд через дипломатический ритуал» (2008); «Такада Кахэй» (2012). Является редактором сборника «Русские в Маньчжурии» (2012). В последнее время в центре ее научных интересов находится исследование русской диаспоры в Маньчжурии и российского японоведения на Дальнем Востоке.

Андреас Реннер — профессор Университета Людвиг Максимилиана в Мюнхене. Специалист в области общественной и культурной истории царской России и Советского Союза и их отношений с Азией. Среди его работ книга «Российская автократия и европейская медицина. Организация передачи научных знаний в XVIII в.» (Штутгарт, 2010). В последнее время объектом его научных интересов является русская и советская визуальная культура, в том числе репрезентации Японии.

Ирина Витальевна Мельникова — профессор Университета Досея (г. Киото). Изучает японскую литературу и кино, занимается исследованием истории культурных связей России и Японии. Опубликовала около 50 научных работ на русском, японском и английском языках, в том числе: «Чей соловей. Отзвук песен русского Харбина в японском кино» (Киноведческие записки. 2010. № 94/95); «Грость Толстого: о японских гостях Ясной Поляны» (Толстой и о Толстом. 2010. № 4). Известна как переводчик классической и современной японской литературы: «Сливовый календарь любви» (СПб., 1994); «Сарасина никки» (СПб., 1996); *Нагаи Кафу*. «Соперницы» (СПб., 2005); *М. Миябэ*. «Горящая колесница» (СПб., 2012).

Сергей Анатольевич Толстогузов — кандидат исторических наук (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2012) и PhD Хиросимского университета (2002). С 1995 г. работает в Хиросимском университете и является автором учебника русского языка для японцев. Сфера научных интересов — социально-экономическая история Японии, сравнительное исследование Мэйдзи исин и русской революции 1917 г., история японской карикатуры. В последние годы опубликованы статьи: «Финансовый кризис и революция в России: опыт сравнительного анализа» (в сб. «Падение империи: Революция и Гражданская война в России». М., 2010); «The Bakumatsu Currency Crisis and the Bakufu's Finances» (The Japan Studies Association Journal. 2012. Vol. 10).

Евгений Семенович Штейнер — профессор-исследователь при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета и профессор университета «Высшая школа экономики». На протяжении многих лет преподавал и занимался научной работой в Москве, Иерусалиме, Токио, Нью-Йорке, Манчестере и Лондоне. Опубликовал порядка десяти книг, среди которых: «Stories for Little Comrades: Revolutionary Artists in the Early Soviet Children's Book» (1999); «Японская гравюра в собрании Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» (научный редактор и автор ок. 600 статей; 2008); «Victory Over the Sun» (автор введения и переводчик; 2009); «Orientalism/Occidentalism: Languages of Culture vs. Languages of Description» (составитель и автор введения; 2012), а также «Zen-Life: Ikkyu and Beyond» (2014).

Кимура Такаси — почетный профессор Киotosкого университета. Сфера научных интересов — русская литература XIX в., включая Лермонтова, Пушкина, Толстого и Чехова. Публикует работы по теории русской литературы и русско-японским отношениям. Среди его публикаций: книга «Кавказ как граница пересечения двух цивилизаций» (совместно с Судзуки Тадаси и др.; 2006), статьи «Сравнительное изучение русских и японских представлений о жизни и смерти на основе литературных произведений»; «Пространство без границ — Бородино как историческое явление» и другие.

**ЯПОНИЯ И РОССИЯ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБРАЗОВ**

Макет подготовлен издательством
«Петербургское Востоковедение»

✉ 198152, Россия, Санкт-Петербург, а/я 111
e-mail: pvcentre@mail.ru; *web-site:* <http://www.pvost.org>

Главный редактор издательства — *О. И. Трофимова*
Литературный редактор — *Т. Г. Бугакова*
Технический редактор — *Г. В. Тихомирова*
Корректор — *Т. В. Сеницкая*

Подписано в печать 05.11.2014. Формат 60×90^{1/16}
Бумага мелованная. Печать офсетная. Объем 16 печ. л.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3380

PRINTED IN RUSSIA

Первая академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28